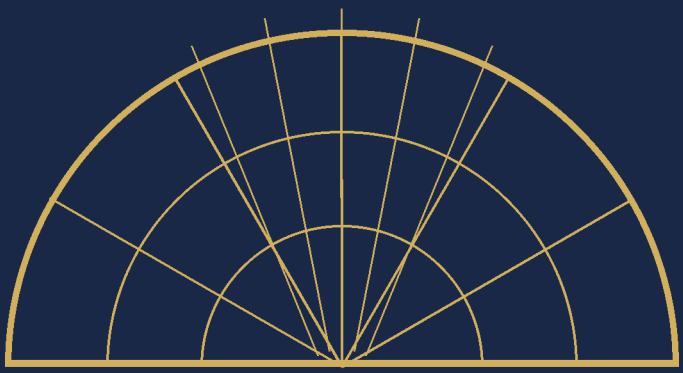
УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЕССМЕРТИЕ



УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЕССМЕРТИЕ

Два мнимых возражения против этого учения

Об этой книге

«Человеческое бессмертие» — лекция Уильяма Джеймса, прочитанная в Гарварде в 1897 году. Джеймс берет два привычных довода против бессмертия и разбирает их один за другим.

Первый довод — «мысль есть функция мозга»: раз мозг умирает, умирает и сознание. Джеймс отвечает, что функция бывает разной. Мозг может не порождать сознание, а лишь пропускать его, как цветное стекло пропускает свет или как клапан выпускает пар. Тогда гибель мозга — это гибель стекла, а не света.

Второй довод — что бессмертных вышло бы слишком много: если жить вечно будет каждый, небо переполнится. Джеймс показывает, откуда берется это чувство тесноты и почему оно ничего не говорит о самой вселенной.

К лекции приложены примечания автора — с выписками из Фехнера, Майерса, Кабаниса и других.

Содержание

Об Ингерсолловских лекциях 5

Человеческое бессмертие. Два мнимых возражения против этого учения 7

Примечания 33

ОБ ИНГЕРСОЛЛОВСКИХ ЛЕКЦИЯХ

✦

Выписка из завещания мисс Каролины Хаскелл Ингерсолл, скончавшейся в Кине, графство Чешир, штат Нью-Гэмпшир, 26 января 1893 года.

Первое. Исполняя волю моего покойного возлюбленного отца, Джорджа Голдтуэйта Ингерсолла, выраженную им в его последней воле и завещании, я даю и завещаю Гарвардскому университету в Кембридже, штат Массачусетс, где мой покойный отец получил образование и который он всегда любил и чтил, сумму в пять тысяч долларов (5000 долларов) как фонд для учреждения лекций по образцу, отчасти сходному с Дадлиевской лекцией, а именно: одна лекция, читаемая ежегодно, в любой удобный день между последним днем мая и первым днем декабря, на предмет «Бессмертие человека»; лекция эта не должна составлять части обычного университетского курса и не должна читаться каким-либо профессором или тьютором в порядке его обычных учебных занятий, хотя любой такой профессор или тьютор может быть назначен к этому служению. Выбор означенного лектора не должен ограничиваться каким-либо одним вероисповеданием или какой-либо одной профессией: им может быть как священнослужитель, так и мирянин, а назначение должно состояться не менее чем за шесть месяцев до чтения означенной лекции. Указанную сумму надлежит надежно поместить; три четверти годового дохода с нее выплачивать лектору за его труд, а оставшуюся четверть расходовать на издание и бесплатное распространение лекции, экземпляр

которой лектор всегда обязан предоставлять для этой цели. Лекция эта должна именоваться и быть известной как «Ингерсолловская лекция о бессмертии человека».

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БЕССМЕРТИЕ

✦

Два мнимых возражения против этого учения

История, к сожалению, слишком часто показывает нам — так часто, что об этом и говорить особенно не стоит, — что стоит какой-нибудь живой потребности человечества получить официальную защиту и устроиться в виде учреждения, как одним из самых верных дел этого учреждения становится заслонять собой естественное удовлетворение самой потребности. Мы видим это в законах и судах; видим в церковных установлениях; видим в академиях изящных искусств, в медицинской и прочих профессиях, и видим даже в самих университетах. Слишком часто те, кто занимает места в таких учреждениях, губят духовную цель, служить которой они поставлены: виной тому технический свет, который вскоре становится единственным светом, в каком они способны видеть эту цель, и узкая колея, которая остается единственной дорогой, по какой они умеют идти ей на службу.

Признаюсь, я на мгновение подумал об этом, когда Корпорация нашего университета прошлой весной предложила мне прочесть эту Ингерсолловскую лекцию. Бессмертие — одна из великих духовных потребностей человека. Церкви объявили себя официальными хранительницами этой потребности, и дошло до того, что некоторые из них всерьез притязают даровать бессмертие отдельному человеку или отказывать ему в нем посредством своих условных таинств — отказывать по крайней мере в том единственном виде, в каком оно может быть

предметом желания. И вот появляются Ингерсолловские лекции. Их благородный учредитель, очевидно, полагал, что наш университет сможет послужить дорогому его сердцу делу свободнее, чем служат церкви, — ведь университет куда меньше скован преданиями и запретами в выборе лиц. И что же: одним из первых своих действий университет назначает человека вроде того, кто стоит сейчас перед вами, — и уж конечно не потому, что он известен как восторженный вестник будущей жизни, горящий желанием возвестить благую весть ближним, а, по всей видимости, потому, что он — университетское должностное лицо.

Рассуждая так, я поначалу почувствовал, что мне следовало бы отклонить назначение. Весь предмет бессмертной жизни корнями своими уходит в личное чувство. Должен признаться, что мое собственное чувство по поводу бессмертия никогда не было особенно острым и что среди вопросов, тревожащих мой ум, этот стоит далеко не на первом месте. Однако есть люди с подлинной страстью к этому предмету, мужчины и женщины, для которых жизнь за гробом — жгучая жажда, а мысль о ней — неотвязная забота; и у них острота интереса породила такое проникновение в связи предмета, какого не достичь никому, кто меньше проникнут его тайной. Некоторых из этих людей я знаю. Это не должностные лица; они говорят не как книжники, а как власть имеющие. И уж если где-нибудь следует призвать для вдохновения, уверения и наставления пророка в козьих шкурах, а не чиновника в мундире, то, казалось бы, именно здесь, на такую тему. Должность, во всяком случае, не должна вытеснять духовного призвания.

И все же, несмотря на эти размышления, которых я не мог не предаться, я здесь сегодня вечером — такой, как есть, невдохновенный и должностной. Я уверен, что пророков в козьих шкурах — или, говоря менее образно, мирян, вдохновленных

горячей вестью об этом предмете, — наша Корпорация еще не раз будет приглашать читать Ингерсолловскую лекцию. А пока, сколь бы отрицательными и омертвляющими ни казались замечания простого профессионального психолога вроде меня рядом с живыми уроками, которые дадут они, я по зрелом размышлении уверен, что те, на ком лежит ответственность за распоряжение Ингерсолловским фондом, обязаны по долгу своему давать черед и самым разным должностным лицам. Предмет этот поистине необъятен. В конце «Критической истории учения о будущей жизни» г-на Олджера помещена библиография более чем из пяти тысяч названий книг, где он разбирается. Наша Корпорация не может думать лишь об одной лекции: она должна думать обо всем ряде лекций *in futuro* — в будущем. Отдельных лекций, сколь бы вдохновенными и вдохновляющими они ни были, будет недостаточно. Лекции должны восполнять одна другую, так чтобы из всего ряда выросла совокупная литература, достойная важности темы. Именно это, несомненно, и имел в виду учредитель. Он хотел, чтобы предмет был рассмотрен со всех возможных сторон, так чтобы в конце концов итоги стройно склонились в верную сторону. Если смотреть в этой длинной перспективе, Ингерсолловский фонд требует ничего так сильно, как тщательного разделения труда. Своя очередь должна достаться ораторам и пророкам — но и узким специалистам тоже. Богословы всех исповеданий, метафизики, антропологи и психологи должны чередоваться с биологами, физиками и психическими исследователями — даже с математиками. Если хоть один из них принесет крупицу истины, увиденную с его точки зрения, которая останется и срастется с истинами, принесенными другими, то его назначение было удачным.

Итак, в предстоящий нам час я попытаюсь оправдать свое назначение, предложив вам две, как мне кажется, такие крупицы истины, два положения, которые, если я не ошибаюсь, хорошо способны соединиться со всем, что принесут другие лекторы.

Оба эти положения по природе своей — ответы на возражения, на те трудности, которые наша современная культура находит в старом представлении о жизни за гробом, — трудности, которые, я уверен, отнимают у этого представления немалую долю его прежней силы привлекать веру в научно образованных кругах, к которым принадлежат собравшиеся здесь.

Первая из этих трудностей касается полной зависимости нашей духовной жизни, какой мы знаем ее здесь, от мозга. Повсюду вокруг нас слышишь не только от физиологов, но и от множества людей посторонних, читающих популярные книги и журналы о науке: как можем мы верить в жизнь за гробом, когда наука раз и навсегда, не оставив никакой лазейки, доказала, что наша внутренняя жизнь есть функция того знаменитого вещества, так называемого «серого вещества» наших мозговых извилин? Как может функция сохраняться после того, как ее орган подвергся распаду? Итак, именно физиологическая психология, как полагают, преграждает путь старой вере. И вот теперь я, как физиологический психолог, прошу вас взглянуть на этот вопрос вместе со мной несколько внимательнее.

Это и в самом деле верно, что физиологическая наука пришла к названному заключению; и надо признать, что, сделав это, она лишь довела немного дальше общее убеждение человечества. Каждый знает, что остановка в развитии мозга приводит к слабоумию, что удары по голове уничтожают память или сознание и что возбуждающие мозг вещества и яды меняют качество наших мыслей. Анатомы, физиологи и патологи только

показали, что этот общепризнанный факт зависимости подробен и точен в мелочах. Лаборатории и клиники в последнее время учат нас не только тому, что мысль вообще есть одна из функций мозга, но и тому, что различные особые виды мышления суть функции особых участков мозга. Когда мы думаем о вещах видимых, деятельны наши затылочные извилины; когда о вещах слышимых — некоторая часть наших височных долей; когда о вещах, которые надо произнести, — одна из лобных извилин. Профессор Флексиг из Лейпцига (который, пожалуй, больше кого бы то ни было вправе считать этот предмет своим) полагает, что в других особых извилинах идут те процессы ассоциации, которые позволяют совершаться более отвлеченным процессам мысли. Я легко показал бы вам эти области, будь у меня здесь изображение мозга.[1] Более того, ослабленные или усиленные связи того, что этот автор называет *Körperfühlsphäre* — сферой телесного чувства, — с другими областями объясняют, по его мнению, склад нашей чувственной жизни и в конечном счете решают, станет ли человек бесчувственным скотом или преступником, неуравновешенным сентименталистом или же характером, открытым чувству и все-таки хорошо уравновешенным. Такие частные мнения, возможно, придется еще поправлять; однако главные положения, выработанные анатомами, физиологами и патологами мозга, представляются столь прочно установленными, что молодежь наших медицинских школ повсюду учат верить им без колебаний. Уверенность, что наблюдение будет устанавливать их все точнее и точнее, вдохновляет все современные исследования. И почти любой из наших молодых психологов скажет вам, что лишь несколько запоздалых схоластов, да, может быть, какой-нибудь полоумный теософ или психический исследователь еще

упираются и толкуют так, словно душевные явления могут существовать в мире как независимые переменные.

Так вот, для целей моего рассуждения я хочу принять это общее учение так, как если бы оно было установлено безусловно, без всякой возможности ограничения. В этот час я прошу и вас принять его как постулат — считаете ли вы его неопровержимо доказанным или нет; итак, я прошу вас согласиться со мной сегодня и подписаться под великой психофизиологической формулой: *Мысль есть функция мозга*.

Вопрос, стало быть, в том, принуждает ли нас это учение логически не верить в бессмертие? Должно ли оно заставить всякого по-настоящему последовательного мыслителя принести свои надежды на загробную жизнь в жертву тому, что он считает своим долгом — принять все следствия научной истины?

Большинство людей, проникнутых тем, что можно назвать пуританством науки, почувствовали бы себя обязанными ответить на этот вопрос «да». Если какие-нибудь молодые ученые, воспитанные медициной или психологией, чувствуют иначе, то, вероятно, вследствие той несвязности ума, преимуществом которой, по счастью, пользуется большинство человечества. В один час они ученые, в другой — христиане или просто люди, в груди которых жарко горит воля к жизни; и, держа таким образом оба конца цепи, они не заботятся о промежуточных звеньях. Но более радикальный и непреклонный ученик науки приносит жертву и, скорбя или нет, смотря по темпераменту, покорно отказывается от своих надежд на небеса.[2]

Вот, стало быть, возражение против бессмертия; и теперь мне по порядку следует постараться объяснить вам, почему я считаю, что в строгой логике оно не имеет никакой устрашающей силы. Я должен показать вам, что роковое следствие не принудительно,

как обычно воображают, и что, даже если жизнь нашей души (в том виде, в каком она открывается нам здесь, внизу) в буквальной строгости есть функция гибнущего мозга, все же вовсе не невозможно, а, напротив, вполне возможно, что эта жизнь продолжится и тогда, когда сам мозг мертв.

Мнимая невозможность ее продолжения происходит от слишком поверхностного взгляда на признанный факт функциональной зависимости. Стоит нам внимательнее вглядеться в понятие функциональной зависимости и спросить себя, например, сколько видов функциональной зависимости может существовать, как мы тотчас замечаем, что есть по меньшей мере один вид, который вовсе не исключает жизни за гробом. Роковое заключение физиолога вытекает из того, что он наспех предполагает другой вид функциональной зависимости и обращается с ним как с единственно мыслимым.[3]

Когда физиолог, полагающий, что его наука отсекает всякую надежду на бессмертие, произносит фразу «Мысль есть функция мозга», он мыслит дело точно так же, как когда говорит: «Пар есть функция чайника», «Свет есть функция электрической цепи», «Сила есть функция падающего водопада». В этих последних случаях соответствующие материальные предметы имеют функцию внутренне создавать или порождать свои действия, и их функцию надо назвать порождающей функцией. Точно так же, думает он, должно обстоять дело и с мозгом. Порождая сознание в своих недрах, подобно тому как он порождает холестерин, креатин и углекислоту, мозг в своем отношении к жизни нашей души тоже должен иметь порождающую функцию. Разумеется, если функция есть такое порождение, то, когда орган гибнет и порождение продолжаться больше не может, душа непременно

должна умереть. Такое заключение в самом деле неизбежно при этом именно понимании фактов.[4]

Но в мире физической природы порождающая функция этого рода — не единственный вид функции, с которым мы знакомы. Есть еще разрешающая, или высвобождающая, функция; и есть передающая функция. Спусковой крючок арбалета имеет высвобождающую функцию: он убирает препятствие, удерживающее тетиву, и дает дуге вернуться в ее естественную форму. То же происходит, когда боек ударяет по взрывчатому веществу. Выбивая внутренние молекулярные преграды, он позволяет составляющим газам вернуться к их нормальному объему и тем самым дает совершиться взрыву.

В случае цветного стекла, призмы или преломляющей линзы мы имеем передающую функцию. Энергия света, как бы она ни была порождена, стеклом просеивается и ограничивается в цвете, а линзой или призмой направляется по определенному пути и в определенную форму. Подобным образом и клавиши органа имеют лишь передающую функцию. Они поочередно открывают различные трубы и дают воздуху из воздушной камеры вырываться разными путями. Голоса различных труб образуются столбами воздуха, дрожащими при выходе. Но воздух не порождается в органе. Орган в собственном смысле, в отличие от его воздушной камеры, есть лишь прибор, выпускающий части этого воздуха в мир в этих своеобразно ограниченных формах.

Мой тезис теперь таков: когда мы думаем о законе, что мысль есть функция мозга, мы не обязаны думать об одной только порождающей функции; *мы вправе рассматривать также разрешающую или передающую функцию*. А ее-то обычный психофизиолог и не берет в расчет.

Предположим, например, что вся вселенная материальных вещей — убранство земли и хор небес — оказалась бы лишь поверхностной завесой явлений, скрывающей и удерживающей за собой мир подлинных реальностей. Такое предположение не чуждо ни здравому смыслу, ни философии. Здравый смысл верит в реальности за завесой даже слишком охотно; а идеалистическая философия объявляет весь мир естественного опыта, каким мы его получаем, лишь маской времени, которая дробит или преломляет единую бесконечную Мысль, единственную реальность, в те миллионы конечных потоков сознания, которые известны нам как наши личные «я».

Жизнь, как купол многоцветного стекла,
Пятнает белое сияние вечности.

Предположим теперь, что это и вправду так, и предположим, сверх того, что купол, всегда достаточно непрозрачный для полного сверхсолнечного блеска, в иные времена и в иных местах мог бы становиться менее непрозрачным и пропускать иные лучи сквозь себя в этот подлунный мир. Эти лучи были бы, так сказать, столькими же конечными лучами сознания, и они менялись бы в количестве и качестве по мере того, как менялась бы степень непрозрачности. Лишь в особые времена и в особых местах, казалось бы, завеса природы и в самом деле может стать достаточно тонкой и проницаемой, чтобы такие действия происходили. Но в этих местах проблески абсолютной жизни вселенной, сколь угодно конечные и неудовлетворительные, время от времени даруются. Жар чувства, вспышки прозрения, потоки знания и восприятия вплывают в наш конечный мир.

Допустите теперь, что наши мозги и есть такие тонкие и полупрозрачные места в завесе. Что произойдет? А вот что: как

белое сияние проходит сквозь купол со всевозможными пятнами и искажениями, которые накладывает на него стекло, или как воздух сейчас проходит через мою гортань, получая силу и качество своих колебаний, определенные и ограниченные особенностями тех голосовых связок, которые служат ему воротами выхода и придают ему вид моего личного голоса, — точно так же подлинное вещество реальности, жизнь душ, какова она во всей ее полноте, будет прорываться через наши отдельные мозги в этот мир во всевозможных ограниченных формах и со всеми несовершенствами и странностями, которые отличают наши конечные индивидуальности здесь, внизу.

Можно также предположить, что, смотря по состоянию, в котором находится мозг, преграда его сопротивления то поднимается, то опускается. Когда мозг в полной деятельности, она опускается так низко, что через нее переливается сравнительно целый поток духовной энергии. В другое время проходят лишь такие редкие волны мысли, какие допускает тяжелый сон. А когда наконец мозг вовсе перестает действовать или распадается, тот особый поток сознания, которому он служил, совершенно исчезает из этого природного мира. Но сфера бытия, питавшая это сознание, останется нетронутой; и в том более реальном мире, с которым оно, даже будучи здесь, составляло одно целое, сознание могло бы, неведомыми нам путями, продолжаться и дальше.

Вы видите, что при всех этих предположениях жизнь нашей души, какой мы знаем ее здесь, тем не менее в буквальной строгости оставалась бы функцией мозга. Мозг был бы независимой переменной, ум менялся бы в зависимости от него. Но такая зависимость от мозга в этой природной жизни нисколько не делала бы невозможной жизнь бессмертную — она

вполне могла бы совмещаться со сверхприродной жизнью за завесой в будущем.

Итак, как я сказал, роковое следствие не принудительно: заключение, которое выводит материализм, обязано единственно его одностороннему пониманию слова «функция». И заботит нас бессмертие само по себе или нет, мы обязаны, хотя бы как простые критики, несущие полицейскую службу среди причуд человечества, настаивать на нелогичности отрицания, основанного на том, что осязаемая иная возможность попросту отброшена. Насколько же сильнее обязаны мы настаивать на этом как любители истины, когда отрицается такая живая надежда человечества!

Итак, в строгой логике зубы у мозгового материализма вырваны. Мои слова, следовательно, уже должны оказать высвобождающую функцию на ваши надежды. Отныне вы *можете* верить — пожелаете ли вы воспользоваться этим разрешением или нет. Но так как рассуждение это весьма отвлеченное, я думаю, что его действию поможет, если сказать несколько слов о более конкретных условиях дела.

Все отвлеченные гипотезы звучат нереально; и отвлеченная мысль, что наши мозги — цветные линзы в стене природы, пропускающие свет из сверхсолнечного источника, но в то же время окрашивающие и ограничивающие его, звучит вполне фантастически. Что это, спросите вы, как не нелепая метафора? И как можно вообразить себе такую функцию? Разве обычное материалистическое представление не гораздо проще? Разве сознание в самом деле не больше похоже на некий пар, или аромат, или электричество, или нервное свечение, порождаемое на месте в своем особом сосуде? Разве не строже научно рассматривать функцию мозга как функцию порождения?

Немедленный ответ таков: если мы говорим о науке в положительном смысле, функция не может значить ничего, кроме голого сопутствующего изменения. Когда деятельность мозга меняется одним образом, сознание меняется другим; когда токи текут через затылочные доли, сознание видит вещи; когда через нижнюю лобную область — сознание говорит что-то себе; когда они прекращаются, оно засыпает, и так далее. В строгой науке мы можем лишь записать голый факт сопутствия; а всякие разговоры о порождении или передаче как о способе, каким это происходит, — чистая добавочная гипотеза, и притом гипотеза метафизическая, ибо о подробностях одного предположения мы можем составить себе ничуть не больше понятия, чем о подробностях другого. Потребуйте какого-нибудь указания на точный процесс передачи или порождения — и наука признается, что воображение ее обанкротилось. У нее до сих пор нет ни малейшего проблеска догадки или намека — ей нечего предложить, даже плохой словесной метафоры или каламбура. *Ignoramus, ignorabimus* — не знаем и не узнаем, — скажут здесь, словами одного из своих, большинство физиологов. Порождение такой вещи, как сознание, в мозге, ответят они вместе с покойным берлинским профессором физиологии, есть абсолютная мировая загадка — нечто столь парадоксальное и ненормальное, что это камень преткновения для природы и почти что самопротиворечие. В способ порождения пара в чайнике мы имеем предположительное проникновение, ибо меняющиеся члены физически однородны друг с другом, и мы легко можем вообразить, что все дело состоит не в чем ином, как в изменениях молекулярного движения. Но при порождении сознания мозгом члены суть совершенно разнородные природы; и, насколько простирается наше разумение, это такое же великое чудо, как если

бы мы сказали, что мысль «самозарождается» или «творится из ничего».

Теория порождения, стало быть, сама по себе ни на йоту не проще и не правдоподобнее любой другой мыслимой теории. Она лишь немного популярнее. Поэтому, если обычный материалист потребует объяснить, как мозг *может* быть органом, ограничивающим и приводящим к определенной форме сознание, порожденное в другом месте, то все, что нужно сделать, — это ответить ему *tu quoque*, «и ты тоже», попросив его в свою очередь объяснить, как мозг может быть органом, порождающим сознание из ничего. Для целей полемики обе теории, таким образом, в точности равны.

Но если мы рассмотрим теорию передачи шире, мы увидим, что у нее есть известные положительные преимущества, совершенно независимо от ее связи с вопросом о бессмертии.

Как именно совершается этот процесс передачи, вообразить, конечно, невозможно; но внешние, так сказать, обстоятельства этого процесса располагают к тому, чтобы в него поверить. Сознанию при таком процессе не приходится рождаться заново, *de novo*, в бесчисленном множестве мест. Оно уже существует — за кулисами, оно ровесник мира. Теория передачи не только избегает таким образом умножения чудес, но и сходится с общей идеалистической философией лучше, чем теория порождения. А всякую такую встречу науки с философией следует считать благом.[5]

Сходится она и с понятием «порога» — словом, которым с тех пор, как Фехнер написал свою книгу «Психофизика», звенит так называемая «новая психология». Условием сознания Фехнер представляет себе некоторый род психофизического движения, как он это называет. Прежде чем сможет появиться сознание, это

движение должно достичь известной степени деятельности. Эта требуемая степень и называется «порогом»; но высота порога при разных обстоятельствах разная: он может подниматься и опускаться. Когда он опускается, как в состояниях большой ясности ума, мы начинаем сознавать то, чего в другое время не сознавали бы; когда он поднимается, как в дремоте, сознания становится меньше. Это поднятие и опускание психофизического порога в точности отвечает нашему представлению о постоянной преграде на пути передачи сознания — преграде, которая в наших мозгах может становиться то больше, то меньше.[6]

Теория передачи сходится также с целым классом переживаний, которые теория порождения объясняет с трудом. Я говорю о тех темных и исключительных явлениях, о которых сообщали во все времена на протяжении всей человеческой истории и которые «психические исследователи» во главе с мистером Фредериком Майерсом так усердно стараются вернуть в число достойных внимания;[7] а именно о таких явлениях, как религиозные обращения, провиденциальное водительство в ответ на молитву, мгновенные исцеления, предчувствия, явления умирающих в час их смерти, ясновидческие видения или впечатления и весь круг медиумических способностей, не говоря уже о вещах еще более исключительных и непостижимых. Если вся наша человеческая мысль есть функция мозга, тогда, разумеется, — коль скоро хоть что-то из этого факт, а на мой собственный взгляд кое-что из этого и есть факты, — мы не вправе предполагать, что все это может происходить без предварительной работы мозга. Но обычная теория порождения сознания сплетена с особым представлением о том, как может возникать работа мозга, — с представлением, что всякая без исключения работа мозга обязана предшествующему

воздействию, непосредственному или отдаленному, телесных органов чувств на мозг. Такое воздействие заставляет мозг производить ощущения и умственные образы, а из ощущений и образов, в свою очередь, складываются высшие формы мысли и знания. Как сторонники передачи, мы тоже должны признать, что таково условие всей нашей обычной мысли. Именно действие чувств опускает мозговую преграду. Мой голос и мой облик, например, ударяют вам в уши и в глаза; ваш мозг от этого становится более проницаемым, и осознание того, что я говорю и кто я такой, проскальзывает в этот мир из мира за завесой. Но в тех таинственных явлениях, о которых я говорю, часто трудно понять, где же тут место органам чувств. Медиум, например, обнаружит знание частных дел своего посетителя, которого он, судя по всему, никак не мог приобрести ни зрением, ни слухом, ни умозаключением из того и другого. Или вам явится некто, кто в эту минуту умирает за сотни миль от вас. По теории порождения не видно, из каких ощущений производятся такие странные обрывки знания. По теории передачи их и не нужно «производить» — они существуют в готовом виде в трансцендентном мире, и требуется лишь одно: чтобы порог мозга ненормально опустился и пропустил их. В случаях обращения, провиденциального водительства, внезапных душевных исцелений и тому подобного самим людям, пережившим это, кажется, будто некая сила извне, совсем не похожая на обычное действие чувств или ведомого чувствами ума, вошла в их жизнь, будто эта жизнь вдруг открылась в ту большую жизнь, в которой она берет свое начало. Слово «наитие», принятое в кругах сведенборгиан, хорошо описывает это впечатление нового прозрения или новой готовности, накатывающей на нас, как прилив. Все такие переживания,

совершенно парадоксальные и бессмысленные по теории порождения, самым естественным образом становятся на свои места по другой теории. Нам нужно только предположить непрерывную связь нашего сознания с материнским морем, чтобы допустить исключительные волны, которые время от времени перехлестывают через плотину. Разумеется, причины этих странных опусканий мозгового порога при любых условиях остаются тайной.

Прибавьте же это преимущество к теории передачи — преимущество, которое, я хорошо знаю, иные из вас оценят не слишком высоко, — прибавьте и то преимущество, что она не противоречит жизни за гробом, и, я надеюсь, вы согласитесь со мной, что во многих отношениях она превосходит более привычную теорию. В истории мнений о таких предметах эта теория никогда не оставалась совсем без внимания, хотя никогда и не развивалась сколько-нибудь подробно. В великой ортодоксальной философской традиции тело считается необходимым условием жизни души в этом чувственном мире; но после смерти, говорят нам, душа освобождается и становится чисто умственным существом, не знающим вожделений. Кант выражает эту мысль в словах, на редкость близких к словам нашей теории передачи. «Смерть тела, — говорит он, — может быть, и есть конец чувственного употребления нашего ума, но лишь начало его умственного употребления. Тело, — продолжает он, — было бы таким образом не причиной нашего мышления, а только ограничивающим его условием, и, хотя оно необходимо для нашего чувственного и животного сознания, его можно рассматривать как помеху нашей чистой духовной жизни».[8] А в недавней книге, очень глубокой и сильной, пока еще известной меньше, чем она заслуживает, — я говорю о «Загадках Сфинкса»

мистера Ф. К. С. Шиллера из Оксфорда, прежде работавшего в Корнеллском университете, — теория передачи защищается довольно подробно.[9]

Но все же, спросите вы, чем положительно эта теория помогает нам вообразить свое бессмертие? Ведь то, что все мы хотим сохранить, — это как раз наши личные ограничения, те самые наклонности и особенности, которые определяют нас для нас самих и для других и составляют нашу так называемую тождественность. Наша конечность, наши пределы кажутся нашей личной сущностью; и когда ограничивающий орган отпадет и наши отдельные духи вернутся к своему первоисточнику и вновь обретут безграничное состояние, будут ли они тогда хоть сколько-нибудь похожи на те милые сердцу потоки чувства, которые мы знаем и которые даже теперь наши мозги просеивают для нас из великого вместилища, чтобы мы наслаждались ими здесь, внизу? Такие вопросы — вопросы поистине живые, и будущим лекторам на этой Ингерсолловской кафедре, несомненно, придется всерьез их обсуждать. Я, со своей стороны, надеюсь, что не один такой лектор проницательно разберет условия нашего бессмертия и скажет нам, сколько мы можем потерять и сколько, быть может, приобрести, если его ограничивающие очертания изменятся. Если всякое определение есть отрицание, как говорят философы, то вполне может оказаться, что утрата некоторых частных определений, налагаемых мозгом, не покажется поводом для столь безусловного сожаления.

Но в эти высшие и более трансцендентные материи я на сей раз входить отказываюсь и перехожу, на остаток часа, ко второму своему пункту. Он так же отрывочен и так же отрицателен, как и

первый. И все же вдвоем они дают нашей вере в бессмертие более свободный взмах крыла.

Второй мой пункт касается невероятного и невыносимого числа существ, которых, при нашем современном воображении, мы должны считать бессмертными, если бессмертие — правда. Не могу не подозревать, что и это — камень преткновения для многих из сидящих здесь. И этот камень преткновения мне очень хотелось бы убрать с дороги.

Это, сдается мне, камень преткновения совершенно нового происхождения; его породило то напряжение количественного воображения, которое принесли с собой новейшие научные теории и вытекающие из них нравственные чувства.

Для наших предков мир был мал и — по сравнению с нашим нынешним ощущением его — довольно уютен. Он просуществовал самое большее шесть тысяч лет. В его истории немногие отдельные человеческие герои — цари, иерархи и святые — выступали на первый план, подавляя воображение своими притязаниями и заслугами, так что не только они сами, но и все, кто был с ними накоротке, сияли отблеском, который, как полагали, даже Всемогущий должен признавать и уважать. Эти выдающиеся лица и их приближенные составляли ядро сонма бессмертных; за ними шли малые герои и святые малых сект, а люди без отличий образовывали нечто вроде фона и заполнения. Вся сцена вечности (по крайней мере, в той ее части, что касалась неба, а не преисподней) никогда не представлялась воображению верующего подмостками подавляюще огромными или неудобно переполненными. Это можно назвать аристократическим взглядом на бессмертие: бессмертные — я говорю только о небе, ибо бессмертие в муках нас сейчас не касается — были всегда *элитой*, избранным и обозримым числом.

Но с нашим поколением на наш западный мир нахлынуло совершенно новое количественное воображение. Теория эволюции требует теперь, чтобы мы предполагали в мировом процессе куда более обширную шкалу времен, пространств и чисел, чем когда-либо снилось нашим отцам. Человеческая история непрерывно вырастает из истории животных и уходит назад, быть может, до самой третичной эпохи. Отсюда незаметно сложился демократический взгляд на бессмертие вместо старого аристократического. Ибо наши умы, если в одном смысле и стали чуть циничнее, то в другом эволюционная перспектива сделала их отзывчивее. Кость от кости нашей и плоть от плоти нашей — эти доисторические братья, еще близкие к зверю. Опоясанные, как и мы, необъятной тьмой этой таинственной вселенной, они рождались и умирали, страдали и боролись. Знавшие страшные преступления и страсти, жившие во тьме незнания, во власти пугающих и странных заблуждений, они все же непоколебимо служили глубочайшему из идеалов — своей твердой вере в то, что существование в любом виде лучше несуществования, — и снова и снова победно выхватывали из пасти вечно нависающей гибели факел жизни, который благодаря им теперь светит миру для нас. Какими поистине малыми кажутся личные различия, когда мы оглядываемся на эти несметные толпы человеческих существ, задыхающихся и надрывающихся под гнетом этой жизненной нужды! И сколь несущественным в глазах Божиих должен быть малый излишек личной заслуги, тонущий в безбрежном океане общей заслуги человечества, которое безмолвно и неустрашимо исполняет основной долг и живет героической жизнью! Мы становимся смиренными и благоговейными, созерцая это грандиозное зрелище. Не наши различия и отличия, чувствуем мы, — нет, но наша общая животная сущность: терпение в

страдании и упорное усилие — вот что должно искупать нас в очах Божества. Необъятное сострадание и чувство родства наполняют сердце. Бессмертие, из которого были бы исключены эти непостижимые миллиарды наших товарищей по борьбе, становится для нас мыслью безрассудной. Что наше превосходство в личной утонченности или в религиозном исповедании должно составлять такое различие между нами и нашими сотрапезниками на пиру жизни, которое влечет за собой столь громадную разницу судеб — вечная жизнь для нас, а для них мучения за гробом или смерть, как у гибнущих зверей, — эту мысль трудно принять всерьез. Больше того: сами звери — дикие, во всяком случае, — всегда ведут героическую жизнь. И современный ум, расширенный, как расширены некоторые умы, космическим чувством, великим эволюционистским видением всеобщей непрерывности, не решается провести черту даже по человеку. Если какое-нибудь существо живет вечно, почему не все? Почему не терпеливые звери? Так что вера в бессмертие, если мы хотим ей предаться, требует от нас нынче масштаба представлений столь громадного, что воображение перед ним изнемогает, а наши личные чувства отказываются подняться и взглянуть этой задаче в лицо. Предположение, к которому нас несет, слишком обширно, и, чем принять вывод, мы отказываемся от посылки, из которой он следует. Мы скорее откажемся от собственного бессмертия, чем поверим, что все полчища готтентотов и австралийцев, какие были и какие еще будут, разделят его с нами *во веки веков*. Жизнь — вещь хорошая, когда ее в меру много; но сами небеса, думаем мы, и космические времена и пространства ужаснулись бы при мысли о том, чтобы вечно сохранять такое вечно растущее ее изобилие и пресыщение.

Сам пройдя, как воспитанник современной научной культуры, через такое внутреннее переживание, я уверен, что оно знакомо и многим, быть может большинству из тех, кто слушает сейчас мои слова. Но я пришел и к тому, что увидел в нем громадное заблуждение; и, поскольку, заметив это заблуждение, я вновь освободил свой ум, я почувствовал, что одна услуга, какую я мог бы оказать сегодня своим слушателям, — это показать, где оно кроется.

Это самое очевидное заблуждение на свете, и удивительно только то, что не весь свет видит его насквозь. Оно — всего лишь следствие неодолимой слепоты, которой мы страдаем, нечувствительности к внутреннему значению чужих жизней и самомнения, готового перенести нашу собственную неспособность на необъятный космос и мерить нужды Абсолюта нашими ничтожными нуждами. Наши христианские предки справлялись с этой задачей легче, чем мы. Нам, правда, недостает сочувствия; но у них было прямое отвращение к этим чуждым человеческим созданиям, и они простодушно полагали, что Божество разделяет это отвращение. Поскольку те были «язычниками», наши отцы находили некоторое удовольствие в мысли, что Творец сотворил их просто как топливо для адского огня. Наша культура очеловечила нас настолько, что до этого мы уже не опускаемся, но представить их себе своими товарищами на полях небесных мы пока не можем. Они нам, как говорится, *ни к чему*, и нас тяготит мысль об их сохранении. Возьмите, например, всех китайцев. Кто из вас, друзья мои, видит хоть какой-нибудь смысл в том, чтобы они продолжали существовать вечно, нисколько не убавившись числом? Наверняка ни один. Самое большее, вы сочли бы уместным сохранить живыми несколько отборных образцов, представляющих любопытную и

своеобразную разновидность человечества; что же до остальных, то, что приходит в таком безмерном множестве и что вы можете вообразить лишь этим отвлеченным, суммарным, собирательным образом, должно быть, вы уверены, чем-то таким, чьи единицы не могут иметь никакой личной ценности. Самому Богу, думаете вы, они ни к чему. Бессмертие каждого отдельного образца должно быть для Него и для вселенной такой же неудобоваримой ношей, как и для вас. И вот, погружая весь предмет в какое-то умственное головокружение и тошноту, вы плывете по течению: сперва сомневаетесь в том, что масса может быть бессмертна, потом теряете всякую уверенность в бессмертии собственной отдельной особы, как бы драгоценной вы все это время ее ни чувствовали и ни сознавали. Таково, я уверен, умонастроение некоторых из тех, кто передо мной.

Но не обязано ли такое умонастроение самой настоящей скудости и нищете вашего воображения? Вы берете эти рои чужих вам сородичей такими, каковы они *для вас*: внешней картиной, написанной на вашей сетчатке и изображающей толпу, гнетущую своей огромностью и беспорядком. Каковы они для вас, таковы, думаете вы, они положительно и безусловно. *Я* не чувствую в них нужды, говорите вы; стало быть, в них *нет* нужды. Но все это время, по ту сторону этой внешности, которая есть ваш способ их осознавать, они осознают самих себя с острейшей внутренностью, с самыми бурными трепетами жизни. Это вы в своей манере смотреть остаетесь холодны, слепы и нечувствительны к ним. Вы открываете глаза на зрелище, все значение которого от вас ускользает. Каждого из этих странных для вас или даже неприятных вам чужаков одушевляет внутренняя радость жизни, такая же жаркая или еще жарче той, что бьется, как вы чувствуете, в вашей собственной груди. Солнце восходит, и красота сияет,

озаряя его путь. Упустить его внутреннюю радость, как говорит Стивенсон, значит упустить его всего.[10] Во всей бесчисленной толпе нет ни одного существа, чьей продолжающейся жизни не требовало бы, и не требовало бы настойчиво, то сознание, которое одушевляет облик этого существа. Что вы этого не осознаете, не понимаете и не требуете, что оно вам ни к чему, — обстоятельство совершенно не идущее к делу. То, что у вашего интереса есть точка насыщения, ничего не говорит нам об интересах, которые существуют безусловно. Вселенная, создавая каждое живое существо из своих запасов, создает в то же время и потребность в этом существе, и стремление к его продолжению — создает их, если не где-нибудь еще, то по крайней мере в сердце самого этого существа. Нелепо предполагать, только потому, что наша частная способность сочувственно вибрировать в лад другим жизням так быстро иссякает, что в самом сердце бесконечного бытия может быть что-то вроде изобилия, пресыщения или перенасыщения. Дело обстоит не так, как если бы существовала ограниченная комната, где уже сидящие в ней умы должны были бы подвигаться, уступать место и тесниться, чтобы принять новых жильцов. Каждый новый ум приносит с собой собственное издание вселенной пространства, собственную комнату для жилья; и эти пространства никогда не теснят друг друга — пространство моего воображения, например, ничуть не мешает вашему. Количество возможного сознания, по-видимому, не управляется никаким законом, подобным так называемому закону сохранения энергии в материальном мире. Когда один человек просыпается или рождается, другому не приходится засыпать или умирать, чтобы сознание вселенной оставалось постоянной величиной. Профессор Вундт, кстати, в своей «Системе философии» сформулировал закон вселенной, который

он называет законом возрастания духовной энергии и который он прямо противопоставляет закону сохранения энергии в физических вещах.[11] Для положительного прироста бытия в духовном отношении, по-видимому, нет никакого формального предела; и поскольку духовное бытие, где бы оно ни возникло, утверждает себя, расширяется и жаждет продолжения, мы можем справедливо и буквально сказать, невзирая на изъяны нашего собственного частного сочувствия, что предложение индивидуальной жизни во вселенной никогда не может, как бы неизмеримо оно ни стало, превысить спрос. Спрос на это предложение возникает в тот самый миг, когда появляется само предложение, ибо существа, которые поставляются, сами требуют своего продолжения.

Я говорю, как видите, с точки зрения всех прочих отдельных существ, которые осознают изнутри свое собственное существование и наслаждаются им. Если мы пантеисты, мы можем на этом и остановиться. Нам тогда нужно лишь сказать, что через них, как через множество разнообразных каналов выражения, вечный Дух Вселенной утверждает и осуществляет свою бесконечную жизнь. Но если мы теисты, мы можем пойти дальше, не меняя результата. Бог, можем мы тогда сказать, обладает столь неистощимой способностью любить, что Его зов и Его нужда — буквально бесконечное накопление сотворенных жизней. Он никогда не изнеможет и не устанет, как устали бы мы, под растущим предложением. Его мера бесконечна во всем. Его сочувствие не может знать ни сытости, ни пресыщения.

Теперь, надеюсь, вы согласны со мной, что утомительность перенаселенного неба — понятие чисто субъективное и обманчивое, признак человеческой неспособности, пережиток старого аристократического исповедания с его тесным кругом

избранных. «Чти Создателя, подними глаза к Его слогу и обычаю небес», — и вы поверите, что это и впрямь демократическая вселенная, в которой ваши частные исключения не играют никакой управляющей роли. Спрашивали ли вашего вкуса, когда заселяли этот земной шар? Как же тогда спрашивать его о заселении необъятного Града Божия? Положим, как Иов, руку на уста и будем благодарны, что при нашей личной малости мы сами вообще здесь есть. Божество, которое терпит нас, можем мы быть уверены, способно стерпеть и много иных странных, дивных и лишь наполовину отрадных вещей.

Что до меня, то, насколько дело касается логики, я готов допустить, чтобы каждый лист, когда-либо выросший в лесах этого мира и шелестевший на ветру, стал бессмертным. Это чисто вопрос факта: так ли обстоит дело с листьями или нет? Отвлеченное количество и отвлеченная, на наш взгляд, ненужность такого множества повторений столь похожих вещей не имеют к предмету никакого отношения. Ибо величина, число и родовое сходство — лишь приемы нашего конечного способа мышления; и, взятая сама по себе, отдельно от нашего воображения, одна шкала размеров и чисел для вселенной не более чудесна и не более немыслима, чем другая, стоит лишь предоставить вселенной свободу вообще быть — вместо того небытия, которое, мыслимо, могло бы царить.

Сердце бытия не может знать исключений, подобных тем, что устанавливают наши бедные маленькие сердца. Внутреннее значение других жизней превосходит все наши силы сочувствия и проницательности. Если мы чувствуем в собственной жизни значение, которое само собой побуждает нас притязать на ее вечность, будем хотя бы терпимы к подобным притязаниям других жизней, как бы многочисленны они ни были, какими бы

далекими от идеала ни казались нам. Не будем, во всяком случае, решать не в пользу собственного притязания, основания которого мы чувствуем непосредственно, только потому, что не можем решить в пользу чужих притязаний, оснований которых мы не чувствуем вовсе. Это значило бы позволить слепоте диктовать закон зрению.

ПРИМЕЧАНИЯ

✦

Примечание 1

Промежутки между центрами, которые первыми были признаны двигательными и чувствительными, — промежутки, составляющие у человека две трети поверхности полушарий, — Флексиг положительно толкует как умственные центры в строгом смысле слова. [Ср. его «Мозг и душа», 2-е изд., 1896, с. 23.] У них, полагает он, общий тип микроскопического строения; а волокна, связанные с ними, получают свою мозговую (миелиновую) оболочку на месяц позже, чем волокна, связанные с другими центрами. При расстройстве они становятся исходной точкой помешательств в собственном смысле. Еще Вернике определил помешательство как болезнь органа ассоциации, не притязая, впрочем, так определенно очертить этот орган, — ср. его «Очерк психиатрии», 1894, с. 7. Флексиг идет так далеко, что находит у больных прогрессивным параличом различие симптомов смотря по тому, поражены ли у них лобные или более задние ассоциативные центры. Если дело в лобных центрах, то у больного самосознание расстроено сильнее, чем восприятие чисто предметных отношений. Если же страдают задние ассоциативные области, то распадается скорее система предметных представлений больного (там же, с. 89–91). У грызунов, по мнению Флексига, ассоциативные центры отсутствуют вовсе — чувствительные центры соприкасаются друг с другом. У хищных и у низших обезьян эти последние центры все

еще превосходят ассоциативные по объему. Лишь у узконосых обезьян мы начинаем находить нечто похожее на человеческий тип (с. 84). В своей небольшой брошюре «Границы душевного здоровья и болезни», Лейпциг, 1896, Флексиг приписывает нравственную бесчувственность, встречающуюся у некоторых преступников, ослаблению внутреннего чувства боли вследствие вырождения «сферы телесного чувства» — той обширной передней области, которую первым так назвал Мунк и в которую Флексиг помещает седалище всех эмоций и самосознания [«Мозг и душа», с. 62–68; «Границы…», с. 31–39, 48]. Я привожу эти ссылки на Флексига ради наглядности, а не потому, что его взгляды установлены бесповоротно.

Примечание 2

Этот вывод так широко распространен в позитивистских кругах, так обильно высказывается в разговорах и так часто подразумевается в написанном, что, признаюсь, велико было мое удивление, когда я принялся искать в книгах место, где бессмертие прямо отрицалось бы на физиологических основаниях, чтобы привести его и сделать свой текст более конкретным. Я не смог найти ничего достаточно резкого и отчетливого, что годилось бы для этой цели. Я пересмотрел все книги, которые естественно приходили на ум, — без всякого результата; тщетно расспрашивал и разных коллег-психологов. А между тем я почти готов был бы поклясться, что за последнее десятилетие прочел несколько таких мест самого категорического свойства. Весьма вероятно, что это ложное впечатление и что с этим мнением дело обстоит так же, как со многими другими. Ими полна атмосфера; страницы многих

писателей логически их предполагают и в себе заключают; и все же, если вы захотите указать студенту на прямое и решительное высказывание, которое он мог бы взять текстом для комментария, вы не найдете почти ничего подходящего. В данном случае есть множество мест, где в общем виде говорится, что ум простирается ровно настолько, насколько простирается работа мозга, но едва ли найдется хоть одно, где автор вслед за тем прямо отрицал бы возможность бессмертия. Лучшее, что мне удалось найти, пожалуй, вот это:

> «Не только сознание, но и всякое движение жизни зависит от функций, которые гаснут, как пламя, когда прекращается питание… Явления сознания соответствуют, элемент за элементом, работе особых частей мозга… Разрушение любой части аппарата влечет за собой утрату той или иной из жизненных операций; и отсюда следует, что, пока простирается жизнь, перед нами лишь органическая функция, а не вещь в себе, не выражение той воображаемой сущности, которую зовут душой. Это основное положение… несет с собой отрицание бессмертия души, ибо там, где души нет, вопрос о ее смертности или бессмертии вообще не может быть поставлен… Функция заполняет свое время — пламя светит и в этом отдает все свое существо. Вот и все; и поистине этого довольно… У ощущения есть свои определенные органические условия, и, поскольку они разрушаются с естественным разрушением жизни, для ума, привыкшего иметь дело с действительностью, совершенно невозможно предположить, чтобы какая-либо способность ощущать пережила остановку механизма нашего естественного существования». [Е. Дюринг, «Ценность жизни», 3-е изд., с. 48, 168.]

Примечание 3

Философски подготовленный читатель заметит, что я все время становился на обычную дуалистическую точку зрения естествознания и здравого смысла. С этой точки зрения душевные факты, например чувства, сделаны из одного рода вещества или субстанции, физические факты — из другого. Абсолютный феноменизм, не считающий такой дуализм окончательным, быть может, в конце концов разрешит некоторые из задач, неразрешимых, когда они поставлены в дуалистических терминах. Между тем, поскольку физиологическое возражение против бессмертия возникло на обычной дуалистической плоскости мысли и поскольку абсолютный феноменизм пока не сказал об этом предмете ничего настолько членораздельного, чтобы с этим считаться, то и мой ответ на возражение подобает выразить в дуалистических терминах, — оставляя за собой, разумеется, свободу в другой раз попытаться, если захочу, выйти за их пределы и воспользоваться иными категориями.

Итак, при дуалистическом допущении можно видеть не более двух действительно различных родов зависимости нашего ума от нашего мозга. Либо

(1) мозг вызывает к бытию самое вещество сознания, из которого состоит наш ум; либо же

(2) сознание предсуществует как некая сущность, и различные мозги придают ему его различные особые формы.

Если верно предположение 2 и вещество ума предсуществует, то опять-таки есть только два способа представить себе, как наш мозг сообщает ему специфически человеческую форму. Оно может существовать

(а) в рассеянных частицах, — и тогда наши мозги суть органы сосредоточения, органы, соединяющие и собирающие эти частицы в результирующие умы личной формы; или же оно может существовать

(б) в более обширных единствах (абсолютная «мировая душа» или нечто меньшее), — и тогда наши мозги суть органы, разделяющие его на части и придающие им конечную форму.

Таким образом, возможны три теории функции мозга, и не более. Назовем их по отдельности:

1. Теория порождения;

2а. Теория соединения;

2б. Теория разделения.

В тексте лекции теория номер 2б (определенная точнее как теория передачи) защищается против теории номер 1. Теория 2а, известная иначе как теория «умственной пыли» или «умственного вещества», оставлена совершенно без внимания за недостатком времени. Я оставляю ее без разбора и в этих примечаниях, поскольку уже рассмотрел ее — настолько полно, насколько, по-видимому, требуют опубликованные до сих пор ее формы, — в своем труде «Принципы психологии», Нью-Йорк, Холт и Ко, 1892, глава VI. Здесь, впрочем, могу сказать, что профессор У. К. Клиффорд, один из самых даровитых поборников теории соединения и создатель полезного термина «умственное вещество», считает эту теорию несовместимой с личным бессмертием и в своем отзыве на книгу Стюарта и Тэта «Незримая вселенная» выражает свое убеждение так:

> «Законы, связывающие сознание с изменениями в мозге, весьма определенны и точны, и от их необходимых следствий не уйти… Сознание есть вещь сложная, составленная из элементов, — поток чувств. Работа мозга — тоже вещь сложная, составленная из

элементов, — поток нервных сообщений. Каждому чувству в сознании в то же самое время отвечает нервное сообщение в мозге… Сознание — не простая вещь, а сложная; это соединение чувств в поток. Оно существует одновременно с соединением нервных сообщений в поток. Если отдельное чувство всегда идет вместе с отдельным нервным сообщением, если соединение, или поток, чувств всегда идет вместе с потоком нервных сообщений, то не следует ли отсюда, что, когда поток нервных сообщений распадется, распадется и поток чувств и уже не будет образовывать сознания? Не следует ли отсюда, что, когда распадутся сами сообщения, отдельные чувства разложатся на еще более простые элементы? Силу этого свидетельства не ослабить никаким числом духовных тел. Неумолимые факты связывают наше сознание с этим телом, которое мы знаем, — и не только как целое: части его по отдельности связаны с частями работы нашего мозга. Если есть подобная связь с духовным телом, отсюда следует лишь то, что духовное тело должно умереть одновременно с естественным». [«Лекции и очерки», т. I, с. 247–249. Ср. также места сходного содержания в т. II, с. 65–70.]

Примечание 4

Теория порождения, или материалистическая теория, редко решается сформулировать себя вполне отчетливо. Пожалуй, следующее место из Кабаниса настолько недвусмысленно, насколько вообще что-либо можно найти:

«Чтобы составить верное понятие о тех операциях, из которых получается мысль, мы должны рассматривать мозг как особый орган, специально назначенный ее производить; точно так же, как желудок и кишки назначены совершать пищеварение, печень — отцеживать желчь, околоушные и челюстные железы — приготовлять слюнные соки. Впечатления, приходя в мозг,

принуждают его вступить в деятельность; точно так же, как пищевые вещества, попадая в желудок, побуждают его к более обильному выделению желудочного сока и к движениям, которые заканчиваются их растворением. Собственная функция первого органа — воспринимать [percevoir] каждое отдельное впечатление, привязывать к нему знаки, соединять различные впечатления, сравнивать их между собой, извлекать из них суждения и решения; точно так же, как функция другого органа — действовать на питательные вещества, присутствие которых его возбуждает, растворять их и усваивать их соки нашей природе.

Вы скажете, что органические движения, посредством которых мозг отправляет эти функции, неизвестны? Отвечу, что действие, которым нервы желудка определяют различные операции, составляющие пищеварение, и то, каким образом они сообщают желудочному соку столь деятельную растворяющую силу, равно скрыты от нашего исследования. Мы видим, как пищевые вещества попадают в этот орган со своими собственными свойствами; видим, как они выходят оттуда с новыми свойствами, и заключаем, что желудок и есть настоящий виновник этого превращения. Подобным же образом мы видим, как впечатления доходят до мозга при посредстве нервов; тогда они еще разрознены и лишены связи. Орган вступает в действие; он действует на них и вскоре отсылает [renvoie] их назад превращенными в идеи, которым язык физиономии или жеста либо знаки речи и письма дают внешнее выражение. Мы заключаем, стало быть, с равной достоверностью, что мозг, так сказать, переваривает впечатления; что он органически совершает выделение мысли». [«Отношения между физическим и нравственным в человеке», 8-е изд., 1844, с. 137.]

Именно двусмысленности слова «впечатление» такое описание обязано всей той правдоподобностью, какая у него, может быть,

есть. Более поздние формы теории порождения обнаруживают склонность уподоблять мысль «силе», которую мозг проявляет, или «состоянию», в которое он переходит. Герберт Спенсер, например, пишет:

> «Закон превращения, который действует среди физических сил, в равной мере действует между ними и силами душевными… Как происходит это превращение; как сила, существующая в виде движения, тепла или света, может стать видом сознания; как возможно, чтобы колебания воздуха порождали ощущение, которое мы зовем звуком, или чтобы силы, освобождаемые химическими изменениями в мозге, давали начало чувству, — это тайны, которых постичь невозможно. Но они не более глубоки, чем превращения физических сил друг в друга». [«Основные начала», 2-е изд., с. 217.]

Так и Бюхнер говорит:

> «Мышление должно рассматриваться как особый вид общего природного движения, столь же свойственный веществу центральных нервных элементов, как движение сокращения свойственно веществу мышц или движение света — мировому эфиру… Что мышление есть и должно быть видом движения — не просто постулат логики, но положение, в последнее время доказанное опытным путем… Различные остроумные опыты доказали, что самая быстрая мысль, какую мы способны развить, занимает не меньше восьмой или десятой доли секунды». [«Сила и материя», Нью-Йорк, 1891, с. 241.]

Поскольку тепло и свет суть виды движения, то «фосфоресценция» и «накаливание» — вот явления, которым теория порождения уподобляла сознание:

«Как видишь, что металлический прут, помещенный в пылающую печь, постепенно нагревается и — по мере того как колебания теплорода становятся все чаще — переходит последовательно от оттенков ярко-красного к темно-красному (sic), к белому и с подъемом температуры развивает тепло и свет, — так и живые чувствительные клетки в присутствии побуждающих их раздражений постепенно возбуждаются в самой внутренней своей чувствительности, вступают в фазу эретизма и при известном числе колебаний высвобождают [dégagent] боль как физиологическое выражение этой самой чувствительности, перегретой до красно-белого каления». [Ж. Люис, «Мозг», с. 91.]

В том же духе пишет мистер Персиваль Лоуэлл:

«Когда у нас, как мы говорим, является идея, внутри нас происходит, вероятно, нечто вроде следующего: нервный ток молекулярного изменения поднимается по нервам и через ганглии достигает наконец корковых клеток… Достигнув корковых клеток, он находит там ряд молекул, не столь привычных к этому особому изменению. Ток встречает сопротивление и, преодолевая это сопротивление, заставляет клетки светиться. Это белое каление клеток мы и называем сознанием. Сознание, короче говоря, есть, вероятно, свечение нервов». [«Оккультная Япония», Бостон, 1895, с. 311.]

Примечание 5

Теория передачи весьма естественно связывается со всем тем направлением мысли, которое известно под именем трансцендентализма. Эмерсон, например, пишет: «Мы покоимся в лоне необъятного разума, который делает нас приемниками его истины и органами его деятельности. Когда мы различаем справедливость, когда мы различаем истину, мы ничего не делаем

сами, а лишь открываем проход его лучам». [«Доверие к себе», с. 56.] Но нет необходимости отождествлять сознание, которое в лекции постулируется как предсуществующее за кулисами, с Абсолютным Умом трансцендентального идеализма, хотя, правда, понятие о нем и могло бы вести в эту сторону. Абсолютный ум трансцендентального идеализма — это одна цельная Единица, единый Мировой ум. Для целей же моей лекции за кулисами могло бы быть столько же много умов, сколько и один. Все, чего безусловно требует теория передачи, — это чтобы они превосходили наши умы, которые, таким образом, происходят от чего-то умственного, что предсуществует и больше их самих.

Примечание 6

Фехнеровское понятие «психофизического порога» в его связи с его «схемой волн» мало известно английским читателям. Поэтому я прилагаю его здесь в собственных словах Фехнера, в сокращении:

> «Психически единое связано с физически многим; физически многое стягивается психически в единое, в простое или по крайней мере в более простое. Иначе говоря, психически объединенное и простое суть результаты физической множественности; физически многообразное дает объединенные или простые результаты…
>
> Факты, которые объединяются под этими выражениями и придают им смысл, таковы: … Двумя нашими полушариями мы мыслим единожды; тождественными участками двух наших сетчаток мы видим единожды… Простейшее ощущение света или звука в нас связано с процессами, которые, поскольку они вызываются и поддерживаются внешними колебаниями, сами

должны быть так или иначе колебательной природы, хотя мы и вовсе не сознаем отдельных фаз и колебаний…

Несомненно, стало быть, что некоторые объединенные или простые психические результаты зависят от физической множественности. Но, с другой стороны, столь же несомненно, что множественности физического мира не всегда соединяются в простой психический результат, — нет, даже и тогда, когда они соединены в одной телесной системе. Не могут ли они все же соединяться в некий объединенный результат — вопрос мнения, ибо всегда можно спросить, не имеет ли весь мир как таковой некоего объединенного психического результата. Но о таком результате мы, во всяком случае, не имеем никакого сознания…

Ради краткости будем различать психофизическую непрерывность и прерывность. Скажем, что непрерывность имеет место постольку, поскольку физическое многообразие дает объединенный или простой психический результат; прерывность — поскольку оно дает различимую множественность таких результатов. Поскольку, однако, внутри единства более общего сознания или явления сознания все же может различаться множественность, непрерывность более общего сознания не исключает прерывности отдельных явлений.

Одна из важнейших задач психофизики теперь такова: определить условия (Gesichtspunkte), при которых наступают случаи непрерывности и случаи прерывности.

Отчего происходит, что у разных организмов — отдельные сознания, хотя их тела связаны общей Природой ничуть не меньше, чем части одного организма связаны друг с другом, а эти последние дают единый сознательный результат? Конечно, мы можем сказать, что связь между частями организма теснее, чем между организмами Природы. Но что мы разумеем под более тесной связью? Может ли безусловное различие результата

зависеть от чего-то столь относительного? И не являет ли Природа как целое столь же строгую связь, как любой организм, — даже еще более нерасторжимую? И те же вопросы встают внутри каждого организма. Отчего происходит, что разными нервными волокнами осязания и зрения мы различаем разные точки пространства, а одним волокном не различаем ничего, хотя разные волокна связаны в мозге ничуть не меньше, чем части в одном волокне? Мы можем снова назвать последнюю связь более тесной, но тогда тот же вопрос встанет опять.

Бесспорно, задача, которая стоит здесь перед психофизикой, не может быть решена отчетливо; но мы можем установить общую точку зрения для ее рассмотрения, согласно с тем, что мы изложили в прежней главе об отношениях более общих явлений сознания к более частным».

[Здесь вставлено то прежнее место:]

«Существенное начало таково: человеческая психофизическая деятельность должна превысить известную напряженность, чтобы вообще возникло какое-либо бодрствующее сознание; и во время бодрствования всякое частное видоизменение этой деятельности (самопроизвольное или вызванное раздражением), способное обусловить частное видоизменение сознания, должно, в свою очередь, превысить известную дальнейшую степень напряженности, чтобы это сознание действительно возникло…

Это положение вещей (само по себе простой факт, не нуждающийся в картине) можно сделать яснее с помощью образа или схемы, а также говорить о нем короче. Представим себе всю психофизическую деятельность человека волной, а степень этой деятельности — высотой волны над горизонтальной основной линией или поверхностью, к которой каждая психофизически деятельная точка прибавляет свою ординату… Вся форма и все развитие сознания будут тогда зависеть от подъема и спада этой

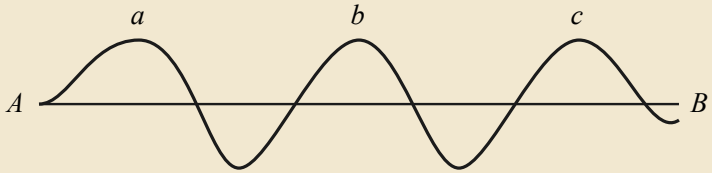
волны; напряженность сознания в каждое мгновение — от высоты волны в это мгновение; и высота эта должна всегда где-нибудь превышать известный предел, который мы назовем порогом, чтобы бодрствующее сознание вообще существовало.

Назовем эту волну полной волной, а этот порог — главным порогом». [Поскольку различные наши состояния сознания повторяются, одни с долгим, другие с коротким периодом,] «мы можем представить такой долгий период, как период медленно колеблющегося состояния нашей общей бодрости и общего направления нашего внимания, волной, которая медленно меняет место своей вершины. Если назвать ее *нижней волной*, то движения более короткого периода, от которых зависят более частные состояния сознания, можно изобразить маленькими волнами, наложенными на нижнюю волну, и назвать их *верхними волнами*. Они будут вызывать всевозможные видоизменения поверхности нижней волны, а полная волна будет результатом обоих рядов волн.

Чем больше теперь сила движений короткого периода, размах колебаний психофизической деятельности, тем выше гребни изображающих их волночек будут подниматься над поверхностью несущей их нижней волны и тем ниже их впадины будут опускаться под нее. И эти возвышения и углубления должны превысить известный количественный предел, который мы можем назвать верхним порогом, прежде чем связанное с ними частное душевное состояние сможет появиться в сознании» [с. 454–456].

«Поскольку же мы изображаем всякую систему психофизической деятельности, которой отвечает в целом объединенное, или главное, сознание, образом полной волны, поднимающейся своим гребнем над известным „порогом“, у нас есть средство представить на одном чертеже физическую связность всех этих психофизических систем во всей Природе вместе с их

психофизической прерывностью. Ибо нам нужно лишь начертить все волны так, чтобы ниже порога они переходили одна в другую, а выше его являлись раздельными, как на чертеже внизу.



На этом чертеже *a*, *b*, *c* означают три организма, или, вернее, полные волны психофизической деятельности трех организмов, а AB изображает порог. В каждой волне та часть, что поднимается над порогом, есть нечто цельное и связана с одним сознанием. Все, что лежит ниже порога, будучи бессознательным, разделяет сознательные гребни, хотя и остается средством физической связи.

В общих словах: везде, где психофизическая полная волна непрерывна сама с собой выше порога, мы находим единство или тождество сознания, поскольку связь психических явлений, отвечающих частям волны, обнаруживается и в сознании. Напротив, везде, где полные волны разобщены или связаны лишь ниже порога, соответствующее сознание разорвано, и никакой связи между его отдельными частями не обнаруживается. Короче: сознание непрерывно или прерывно, объединено или раздельно, смотря по тому, непрерывны или прерывны выше порога сами служащие ему психофизические полные волны…

Если бы мы на чертеже подняли всю линию волн так, чтобы над порогом оказались не только гребни, но и впадины, то эти последние явились бы лишь углублениями в одной большой непрерывной волне над порогом, и прерывность сознания превратилась бы в непрерывность. Мы, разумеется, не можем этого сделать. Мы могли бы также сжать волну так, чтобы

впадины выдавились вверх, а гребни над порогом слились в одну линию; тогда раздельно чувствующие организмы стали бы одним чувствующим организмом. Этого, опять-таки, Человек не может произвести по своей воле, но это произведено в природе Человека. Две его половины, правая и левая, соединены именно так; а число сегментов у лучистых и членистых показывает, что психофизически могут быть так сопряжены и больше двух частей. Стоит только рассечь их, то есть вставить между ними под порогом другую часть природы, и они распадаются на два отдельно сознающих существа»… [«Элементы психофизики», 1860, т. II, с. 526–530.]

Легко видеть, как на фехнеровской схеме волн может быть выражена мировая душа. Поскольку вся психофизическая деятельность непрерывна «ниже порога», сознание тоже могло бы стать непрерывным, если бы порог опустился настолько низко, чтобы открыть все волны. Но порог во всей природе вообще очень высок, и потому сознание, которое через него переходит, имеет прерывную форму.

Примечание 7

См. длинный ряд статей мистера Майерса в «Трудах Общества психических исследований», начиная с третьего тома, где речь идет об автоматическом письме, и кончая последними томами, где рассматриваются высшие проявления знания у медиумов. Теория мистера Майерса относительно всего круга этих явлений такова: наше нормальное сознание находится в непрерывной связи с большим сознанием, пределов которого мы не знаем и которому он дает, в его отношении к отдельному лицу, не очень удачное имя — хотя лучшего никто не предложил — его или ее «подпорогового» (subliminal) я.

Примечание 8

См. «Критику чистого разума», 2-е изд., с. 809.

Примечание 9

Прилагаю несколько выдержек из труда мистера Шиллера:

> «Материя есть превосходно рассчитанный механизм для регулирования, ограничения и сдерживания сознания, которое она заключает в себе… Если материальная оболочка груба и проста, как у низших организмов, она позволяет просочиться сквозь себя лишь малому разуму; если она тонка и сложна, она оставляет больше пор и выходов, так сказать, для проявлений сознания… По этой аналогии мы можем, стало быть, сказать, что низшие животные все еще погружены в низшую стадию животной летаргии, тогда как мы перешли в высшую фазу *сомнамбулизма*, которая уже позволяет нам странные проблески ясновидения, угадывающего реальности трансцендентного мира. И это дает окончательный ответ материализму: он состоит в том, чтобы показать в подробностях… что материализм есть hysteron proteron, перестановка телеги впереди лошади, которую можно исправить, просто обратив связь между Материей и Сознанием. Материя — не то, что производит Сознание, а то, что ограничивает его и удерживает его напряженность в известных пределах: материальная организация не строит сознание из сочетаний атомов, а сжимает его проявление до той сферы, которую она допускает. Это объяснение… признает связь Материи и Сознания, но настаивает на том, что ход истолкования должен идти в обратном направлении. Поэтому оно так же хорошо подойдет к фактам, приводимым в пользу материализма, и притом позволит нам понять факты, которые материализм отбрасывал как „сверхъестественные“. Оно объясняет низшее высшим, Материю

— Духом, а не наоборот, и тем достигает объяснения, которое в конечном счете состоятельно, вместо объяснения, которое в конечном счете нелепо. И это объяснение, возможности которого никакое свидетельство в пользу материализма поколебать не может. Ибо если, например, человек теряет сознание, как только поврежден его мозг, то сказать, что повреждение мозга разрушило механизм, посредством которого проявление сознания становилось возможным, — объяснение, очевидно, ничуть не хуже, чем сказать, что оно разрушило седалище сознания. С другой стороны, есть факты, к которым первая теория подходит гораздо лучше. Если, например, как иногда бывает, человек спустя некоторое время, в большей или меньшей мере, вновь обретает способности, которых лишило его повреждение мозга, и притом не вследствие восстановления поврежденной части, а вследствие того, что подавленные функции начинают исполняться замещающей работой других частей, то самое простое объяснение, конечно, таково: спустя некоторое время сознание складывает из оставшихся частей механизм, способный заменить утраченные части. И опять: если тело есть механизм для сдерживания сознания, для того, чтобы помешать полным силам Я осуществиться преждевременно, то придется перевернуть и наши обычные представления о памяти и объяснять не память, а забвение. Именно при жизни мы пьем горькую чашу Леты, именно мозг дает нам возможность забывать. И это послужит объяснением не только необычайных воспоминаний утопающих и вообще умирающих, но и тех любопытных намеков, которые порой дает нам экспериментальная психология, — что ничто никогда не забывается вполне и безвозвратно». [«Загадки Сфинкса», Лондон, Суон Зонненшайн, 1891, с. 293 и след.]

Концепция мистера Шиллера гораздо сложнее по своим связям, чем простая «теория передачи», постулированная в моей лекции,

и, чтобы отдать ей должное, читателю следует обратиться к самой книге.

Примечание 10

Прошу читателя прочесть великолепный маленький очерк Р. Л. Стивенсона под названием «Носители фонарей», перепечатанный в сборнике «Через равнины». Правда в том, что мы обречены — тем самым, что мы существа практические, с очень ограниченными задачами, которыми надо заниматься, и особыми идеалами, за которыми надо следить, — быть совершенно слепыми и бесчувственными к внутренним чувствам и ко всему внутреннему значению жизней, отличных от нашей. Наше мнение о ценности таких жизней бьет совершенно мимо цели и вовсе не заслуживает того, чтобы с ним считаться.

Примечание 11

В. Вундт, «Система философии», Лейпциг, Энгельман, 1889, с. 315.